

Антропософия, либерализм и патриотизм

Я пишу эти строки как человек, которому антропософия не безразлична. Более того, я пишу их как человек, который многим в своей внутренней жизни обязан антропософскому импульсу. Я не рассматриваю антропософию как одну из множества интеллектуальных мод, как экзотическую доктрину для культурных салонов или как набор любопытных практик, пригодных для педагогики, сельского хозяйства или медицины. Для меня антропософия есть прежде всего серьезная попытка духовной науки проникнуть в строение человека, в ритмы истории, в судьбы народов и в смысл современной цивилизации.

И именно потому, что я дорожу антропософией, я считаю необходимым говорить не только о ее достоинствах, но и о ее искушениях, слабостях и исторических тупиках. Я слишком хорошо вижу, что в России антропософия не укоренилась и, по всей вероятности, не укоренится в своем классическом, западноевропейском виде. Это не случайность и не просто следствие внешних обстоятельств. Здесь есть более глубокая причина. Антропософия вошла в русское пространство не как плод, выросший из русской духовной почвы, а как привнесенный культурный организм, несущий в себе иные ритмы, иные акценты, иной тип самосознания. В этом нет еще осуждения. Но в этом уже есть проблема.

Я убежден, что вопрос об антропософии в России невозможно обсуждать в отрыве от вопроса о либерализме и патриотизме. Это может показаться странным только на первый взгляд. На деле же речь идет о трех разных ответах на один и тот же вопрос: что есть человек, каков смысл народной общности и кто имеет право задавать меру исторической нормы. Либерализм отвечает на этот вопрос через автономного индивида и универсальные права. Патриотизм отвечает через историческую верность, культурную плоть народа и духовную ответственность перед родиной. Антропософия же отвечает через эволюцию сознания, через сверхчувственное строение человека, через исторические миссии народов и эпох.

Но именно здесь и начинается напряжение. Ибо в современном русском сознании всякий универсализм, приходящий извне, воспринимается с подозрением. И это подозрение нельзя просто списать на невежество, на страх перед новым или на «закрытость» русского мира. Оно имеет свои основания. Русский человек слишком дорого заплатил за чужие рецепты спасения. Он слишком хорошо помнит, как внешние идеалы свободы, прогресса и просвещения оборачивались внутренним распадом, унижением, культурной дезориентацией и социальной ломкой. Поэтому когда ему снова предлагают универсальную схему, пусть даже в изысканно-эзотерической форме, он прежде всего спрашивает: кто говорит? откуда говорит? и что станет с моей страной, если я приму этот голос как высшую меру?

Я не хочу упрощать эту проблему. Мне было бы легко написать текст, в котором либерализм был бы объявлен чистым злом, а антропософия — чистым благом. Но такой текст был бы ложным. Истина сложнее. Либерализм в России действительно обнаружил свои глубокие уязвимости, и я еще скажу об этом прямо. Но и антропософия, если она не пройдет через внутреннее покаяние и глубокое самоосмысление, рискует остаться в России либо маргинальным кружковым явлением, либо источником отдельных полезных практик, утративших связь с собственным духовным истоком.

Для меня вопрос стоит так: может ли антропософия, не изменяя своей духовной задаче, освободиться от скрытого западного культурного патернализма и вступить в честный диалог с русским патриотическим сознанием? Или же ее историческая судьба в России будет сводиться лишь к частичному распаду — когда сохранятся педагогические или аграрные методы, но умрет сам живой антропософский импульс? Я не знаю окончательного ответа. Но я знаю, что этот вопрос нельзя больше обходить.

Я пишу эту статью не для того, чтобы отречься от антропософии, а для того, чтобы защитить ее от самообмана. Я хочу говорить как человек, который любит антропософию достаточно сильно, чтобы не подменять духовную верность культурной слепотой. И если мне придется признать, что в России антропософия столкнулась не просто с внешней неприязнью, а с внутренне справедливым сопротивлением патриотического чувства, я признаю это. Ибо духовная наука начинается там, где человек перестает льстить самому себе и начинает смотреть на действительность в ее кармической правде.

Я начну с либерализма, потому что именно вокруг него в России за последние десятилетия сложился особый узел недоверия, раздражения и почти инстинктивного отторжения. И если я хочу честно поставить вопрос об антропософии, я должен сначала понять, почему в русском мире с такой силой отвергается всякий проект, который приходит под знаком универсальной нормы, освобождения и рационального переустройства общества.

Я не принадлежу к тем людям, которые считают, будто в либерализме нет ничего истинного. Это было бы слишком легко и слишком глупо. В самом либеральном импульсе содержится нечто реальное: память о достоинстве личности, протест против произвола, стремление ограничить грубую власть, желание защитить человеческое «я» от поглощения безличной машиной государства. На определенной ступени исторического развития этот импульс был не только законен, но и необходим. В терминах духовной науки я сказал бы так: либерализм связан с развитием души сознательной, с тем моментом, когда человек хочет не только жить по обычаю и не только мыслить в рамках наследованного порядка, но и пережить себя как свободное существо, ответственное перед собственной совестью.

Однако именно здесь начинается роковая ошибка либерализма. Он слишком часто принимает частную ступень развития за универсальный закон всего человеческого бытия. Он видит в личности центр истории, но перестает видеть, что личность сама рождается внутри живого организма культуры, языка, памяти, религиозной формы, народной судьбы. И когда либерализм начинает говорить с народами так, как будто народ есть лишь временная оболочка для автономных индивидов, он немедленно становится враждебен всякому подлинному патриотизму. Ибо патриотизм знает то, чего либерализм не хочет знать: человек не создает себя из пустоты. Он приходит в мир через кровь, землю, речь, предание, через незримую общность мертвых, живых и еще не рожденных.

В России эта ошибка либерализма оказалась особенно разрушительной. Здесь либерализм почти никогда не был воспринят как внутренне выношенный плод русской истории. Он приходил как заимствование, как перевод, как внешняя мера нормальности, которой Россия должна была соответствовать, чтобы считаться «цивилизованной». А всякое учение, входящее в народную жизнь не как органическое самораскрытие, а как внешняя корректирующая инстанция, рано или поздно начинает восприниматься как форма духовной колонизации.

Именно потому уязвимость либерализма в России имеет не только политический, но и антропологический характер. Русский человек может соглашаться с отдельными либеральными требованиями, но не доверять самому носителю либерального сознания. Почему? Потому что слишком часто этот носитель смотрит на Россию не изнутри ее боли, а извне, как на объект переделки. Он говорит о свободе, но за его словом нередко слышится культурное презрение. Он говорит о правах, но в его интонации угадывается готовность судить народ по чужой шкале. Он говорит о будущем, но это будущее подозрительно похоже не на преображенную Россию, а на Россию, переставшую быть собой.

Здесь лежит первая и главная уязвимость либерализма: он не умеет любить конкретный народ в его несовершенной исторической форме. Либерализм слишком легко любит человечество вообще и слишком трудно любит данную родину с ее тяжелой судьбой, с ее государственными изломами, с ее смешением великого и уродливого, святого и грубого. Он хочет сначала переделать народ, а потом уже признать его достойным свободы. Но именно это и делает его духовно чужим. Ибо подлинная

любовь начинается не с презрения к несовершенству, а с верности среди несовершенства.

В России эта чуждость была многократно усилена историческим опытом. Русское сознание слишком прочно связало либеральный проект с эпохой ослабления государства, распада исторической воли и культурного самоотречения. Я сейчас не разбираю конкретные политические подробности; для меня важнее духовный итог. Либерализм оказался в народной памяти соединен не со свободой духа, а с потерей формы. Не с достоинством, а с унижением. Не с творческой ответственностью, а с готовностью жить по внешним лекалам. Народ может многое простить — жесткость власти, несправедливость чиновника, тяжесть быта, даже исторические ошибки. Но он почти никогда не прощает того, в ком чувствует внутреннее отсутствие верности.

Вот почему я считаю, что главный провал либерализма в России — это не проигрыш на выборах и не слабость партийных структур. Его главный провал — нравственно-духовный. Он не сумел явить себя как сила, способная не просто реформировать Россию, но любить ее безусловно. Более того, значительная часть либеральной среды начала говорить о России таким тоном, что народ совершенно закономерно услышал в этом не заботу, а культурную брезгливость. А народная интуиция в таких вещах почти безошибочна. Можно долго спорить о программах, институтах и цифрах, но если народ чувствует, что на него смотрят сверху вниз, что его историю считают недоразумением, что его веру терпят лишь как пережиток, а его государственную волю воспринимают как патологию, тогда никакие разговоры о правах человека уже не помогут.

Я бы сказал даже резче. Русский патриотизм отверг либерализм не потому, что он отверг свободу, а потому, что он не увидел в либерализме любви. Для западного ума это звучит сентиментально. Для русского сознания это решающий критерий. У нас можно быть суровым, даже жестким, но нельзя быть чужим. У нас можно спорить о способах правления, но нельзя строить политический проект на внутреннем стыде за собственный народ. И там, где либеральное сознание скатывается к такому стыду, оно перестает быть освобождающим и становится разрушительным.

Как антропософ, я не могу не видеть здесь более глубокую духовную подоплеку. Либерализм абсолютизирует рассудочную сторону души сознательной и ослабляет связь этой души с народным и сверхличным началом. Он освобождает «я», но слишком часто отрезает его от той живой иерархии бытия, в которой свобода должна быть не бунтом против всякой формы, а внутренне завоеванной ответственностью перед истиной, общиной и историческим предназначением. Либеральный человек хочет быть свободным от всего. Русский человек хочет быть свободным для чего-то: для служения, для верности, для исторического дела, для сохранения смысла своей земли. Это различие огромно.

Именно поэтому либерализм в России духовно уязвим. Он слишком рационален там, где требуется историческая интуиция. Он слишком морализаторски универсален там, где требуется любовь к конкретному. Он слишком уверен в собственной норме там, где следовало бы смиренно взглянуть в чужую судьбу. И, наконец, он слишком часто оказывается не на стороне внутреннего исцеления народа, а на стороне внешнего суда над ним.

Для меня это особенно важно, потому что та же опасность в иной форме подстерегает и антропософию. Если антропософия придет к русскому человеку не как братский духовный труд, а как более высокая схема, объясняющая ему его место в космической и культурной иерархии, она будет отвергнута по той же причине, по какой был отвергнут либерализм. Не потому, что Россия боится духа, а потому, что она отвергает духовное наставничество, за которым скрывается не любовь, а культурное превосходство.

Поэтому критика либерализма для меня не есть уступка грубому антизападничеству и не есть отказ от свободы. Это попытка увидеть, где именно универсалистская идея становится ложной. Она становится ложной тогда, когда перестает быть путем внутреннего раскрытия и превращается в внешний суд. В России либерализм пал именно на этом. И если антропософия не хочет повторить его судьбу, она должна пройти через очищение — через отказ от скрытого духовного высокомерия, через новую скромность и через мужество встретиться с русским патриотизмом не как с врагом, а как с

реальностью, в которой тоже действует исторический дух.

Если в либерализме я вижу политическую форму внешнего универсализма, то в антропософии я вынужден видеть его более тонкую, духовную форму. И здесь мне говорить труднее, потому что речь идет уже не о чужой мне идеологии, а о том пути, которому я внутренне обязан очень многим. Но именно поэтому я не имею права на самообман. Я должен сказать прямо: антропософия несет в себе не только великий христианско-эзотерический импульс, но и опасность культурной односторонности. И в России эта опасность чувствуется особенно остро.

Я принимаю антропософию как науку о человеке и космосе, как путь к познанию связи физического, эфирного, астрального и Я, как попытку понять историю не только внешне, но и в свете духовных Иерархий. Я принимаю ее как серьезный труд души сознательной, которая не хочет оставаться в плену материализма и все же не желает бежать в туманную мистику без понятийной ясности. Но именно душа сознательная, если она не очищена от гордыни, производит особое искушение: она начинает думать, что уже потому, что она различает духовные закономерности, ей позволено сверху смотреть на народы, культуры и исторические судьбы. Там, где это происходит, антропософия перестает быть служением истине и начинает незаметно превращаться в утонченную форму духовного властолюбия.

Главный вопрос здесь для меня таков: как мыслить о народах антропософски и при этом не впасть в культурный патернализм? Ведь антропософия действительно говорит о народных душах, о водительстве Архангелов, о различных ступенях исторического становления, о миссиях эпох и цивилизаций. От этих тем нельзя просто отказаться, не разрушив саму антропософскую картину мира. Но нельзя и говорить о них без нравственной ответственности. Ибо как только я начинаю описывать один народ как более зрелый, а другой как более подготовительный, я немедленно вступаю на опасную почву. Я могу утратить христианское чувство равного достоинства всех человеческих Я и подменить духовное различие метафизическим высокомерием.

В этом месте и возникает русский вопрос. Русский патриотизм — если он здоров, а не идолопоклоннически-государственный — исходит из живого переживания, что Россия не есть сырой материал для чужой формы. Он исходит из чувства, что русский народ имеет собственное духовное лицо, собственное страдание, собственную миссию, которую нельзя свести ни к недоразвитой версии Запада, ни к этнографической периферии Европы. И когда антропософ говорит о славянстве так, что в его словах слышится: «Ваше время еще не настало, вы еще не вполне оформлены, вас должны подготовить более зрелые культурные силы», — русский человек слышит в этом не духовную науку, а оскорбление. Он слышит не братское различие, а культурное понижение.

Я должен признать: здесь у русского чувства есть своя правда. И эта правда состоит в том, что душа народа не терпит, когда к ней подходят как к объекту исторического воспитания. Народ может принять наставление от святых, может принять обличение от пророков, может принять даже тяжелый суд истории. Но он не принимает, когда другой культурный организм, даже вооруженный эзотерическим словарем, присваивает себе право толковать его незрелость. В такой момент любая духовная схема начинает звучать колониально.

Я вижу источник этой ошибки в том, что некоторые антропософы смешивают три разных уровня. Первый уровень — это действительное духовное различие эпох и народных темпераментов. Оно существует, и отрицать его было бы капитуляцией перед плоским эгалитаризмом. Второй уровень — это культурно-исторические формы, в которых эти различия проявляются. Они гораздо более текучи, смешанны и трагичны, чем любая стройная схема. И, наконец, третий уровень — это вечное Я человека, которое ни при каких обстоятельствах не может быть сведено к положению в народной, расовой или культурной иерархии. Вот этот третий уровень слишком часто затуманивается, когда антропософская мысль начинает говорить о народах с чрезмерной уверенностью. Там, где должно было бы звучать благоговение перед тайной народной кармы, начинает звучать доктринальная классификация.

Для русского сознания это особенно невыносимо еще и потому, что Россия исторически жила не только в модусе силы, но и в модусе жертвы. Русская душа несет в себе необычайно глубокий опыт страдания, распада, самоотречения, терпения и внутреннего ожидания. Она может быть грубой на поверхности, но в ее глубине действует особая эсхатологическая чувствительность. Я бы сказал антропософски: в русском народном существе силен не только элемент души ощущающей с ее стихийностью и страстностью, но и скрытый, еще не вполне оформленный потенциал души сознательной, переживаемой не как рациональная автономия, а как ожидание духовной правды, которая должна быть выстрадана, а не сконструирована. Именно поэтому русскому человеку особенно оскорбительно слышать, что он лишь «материал будущего». Он интуитивно знает, что его внутренняя жизнь несоизмерима ни с какой внешней шкалой культурной зрелости.

Я не хочу впадать в обратную ложь и объявлять Россию уже сейчас совершенным носителем высшей духовности. Это было бы ложно и в антропософском, и в христианском смысле. Русская жизнь полна ариманических узлов, грубости, лжи, бюрократического омертвления, тяжести коллективного бессознательного. В ней сильны и люциферические мечтания — жажда мессианской исключительности, склонность заменять внутреннее преображение самоопоеанием собственной «особой миссией». Но именно потому, что я вижу эти искушения, я не хочу добавлять к ним еще и внешнее унижение. Народ исцеляется не тогда, когда ему рассказывают о его низшей стадии, а тогда, когда к нему обращаются как к носителю нераскрытой, но реальной духовной ответственности.

В этом смысле патриотизм для меня не противоположен антропософии. Напротив, здоровый патриотизм может быть корректирующей силой для антропософии. Он напоминает мне, что дух народа — это не абстрактная категория для эзотерических лекций, а живая историческая реальность, в которую человек входит любовью, долгом, языком, памятью и жертвой. Антропософия становится ложной не тогда, когда говорит о народных миссиях, а тогда, когда забывает, что говорить о них можно только изнутри глубочайшего нравственного смирения. Иначе духовная наука вырождается в метафизическую социологию.

Я вижу здесь еще одну существенную проблему. Антропософия, возникшая в средневропейской культурной среде, слишком тесно связана с определенным типом души рассудочной и души сознательной, прошедших западную школу дисциплины, формообразования и интеллектуальной артикуляции. В этом ее сила. Но в этом и ее ограничение. Она слишком часто предполагает, будто путь к духу должен идти именно через такую форму внутренней организации. Русский же опыт устроен иначе. В нем гораздо больше прорывов, надломов, крайностей, покаянных глубин и интуитивных скачков. Русская душа нередко бессильна в ясной форме, но сильна в предельном нравственном переживании. И если антропософ подходит к ней только с меркой западной духовной упорядоченности, он неизбежно сочтет ее хаотичной и недоразвитой. Но это будет не истина, а ошибка оптики.

Я должен признать и нечто еще более болезненное. Иногда сами антропософы, защищая духовную науку, незаметно начинают защищать не дух, а культурную оболочку, в которой дух к ним пришел. Они защищают не христианский эзотеризм как таковой, а его средневропейскую стилистику, его внутренний жест, его интеллектуальную музыку, его педагогическую и социальную манеру. И тогда всякое несогласие с этой оболочкой воспринимается как враждебность к самому духовному содержанию. Это глубоко неверно. Я вполне могу быть верен антропософскому импульсу и при этом видеть, что его историческая оболочка в России не приживается. Более того, я обязан это видеть, если не хочу превращать антропософию в сектантскую субкультуру.

Вот почему я все более убеждаюсь: для России вопрос стоит не так, примет ли она антропософию в ее западном виде. Этого, скорее всего, не будет. Вопрос стоит иначе: может ли быть услышан сам христианско-антропософский импульс, если он пройдет через очищение от культурного патернализма, от скрытого иерархизма и от ложной уверенности, будто средневропейская форма сознания есть нормативная форма для всех. Если этого очищения не произойдет, антропософия будет и дальше восприниматься как учение узких кругов, чуждое народной стихии, подозрительное

для патриотического чувства и в конечном счете бесплодное в историческом отношении.

Но я не хочу завершать этот ход мысли одной критикой. Мне важно сказать и то, что я считаю подлинно живым в антропософии для русского будущего. Живым я считаю не схему народных рангов, не культурный центризм и не претензию на духовную классификацию человечества. Живым я считаю усилие пробудить Я, освободить мышление от материалистического гипноза, вновь соединить познание с нравственной ответственностью и увидеть в истории не хаос интересов, а драму духовных существ и человеческой свободы. Вот это может быть услышано в России. Не как импортная идеология, а как внутренний труд души сознательной, которая не предаёт ни родину, ни истину.

Именно здесь я вижу линию возможной встречи антропософии с русским патриотизмом. Эта встреча состоится не там, где антропософ будет объяснять русскому человеку его место в мировой лестнице, а там, где он поможет ему глубже понять собственную ответственность перед Христом, перед народом и перед будущим культуры. Она состоится не там, где будет предложен готовый западный духовный шаблон, а там, где антропософская работа станет актом смиренного соучастия в судьбе России. Если же этого не произойдет, патриотизм будет прав, отвергая антропософию как ещё одну форму чужого наставничества.

Чем дальше я думаю о судьбе антропософии в России, тем яснее понимаю: вопрос стоит уже не о расширении её влияния, а о самом способе её исторического выживания. Я говорю это с внутренней болью, потому что мне чуждо всякое злорадство по поводу слабости антропософского движения. Но именно любовь к антропософии заставляет меня признать: в России она почти неизбежно движется к маргинальному положению. Не потому, что в России нет духовного поиска. Не потому, что русский человек не способен к восприятию сложной духовной науки. И даже не только потому, что внешняя политическая и культурная атмосфера становится все менее благоприятной для западных эзотерических течений. Причина глубже. Она состоит в том, что антропософия в её исторически сложившемся виде не нашла и, вероятно, уже не найдет органического соответствия русской душевной и народной форме.

Я вижу здесь сразу несколько причин. Прежде всего, антропософия слишком сильно связана с определенным типом внутренней дисциплины, выросшей в среднеевропейском культурном организме. Она требует особого сочетания душевной собранности, понятийной строгости, терпеливого мышления, способности долго удерживать внимание на тончайших переходах между чувственным и сверхчувственным. Это великая школа души сознательной, и в этом я вижу её достоинство. Но в России преобладает иной ритм духовной жизни. Русская душа, если говорить в антропософских терминах, долгое время жила и продолжает жить под сильным воздействием души ощущающей и души рассудочной, тогда как душа сознательная здесь пробуждается не столько через ясную и последовательную внутреннюю тренировку, сколько через кризис, покаяние, нравственный надлом и порой через крайность. Русский человек нередко идет к истине через страдание, а не через метод. Он ищет не столько правильную школу сознания, сколько правду, ради которой можно изменить всю жизнь. И потому антропософская форма работы слишком часто воспринимается здесь как чужая не по содержанию, а по жесту.

Во-вторых, антропософия в России остается слишком узким явлением уже на уровне социальной ткани. Она почти неизбежно собирает вокруг себя небольшие круги людей с повышенной духовной восприимчивостью, интеллектуальной подготовкой и склонностью к внутренней жизни. Но этого слишком мало для исторической укорененности. Учение, которое не способно обратиться к народу иначе как через посредство специально подготовленного меньшинства, в России почти всегда оказывается культурной периферией. Русская история знает великие духовные движения, но они становились живыми только тогда, когда в них появлялась способность соединять высоту духа с простотой обращения, глубину содержания с народной внятностью. Антропософия же слишком часто остается в пространстве кружка, семинара, школы для посвященных в терминологию. А там, где начинается кружок, там в России очень быстро начинается и подозрение: что это за закрытая среда, какой дух в ней действует, кому она служит и почему её язык так мало похож на язык народной жизни.

В-третьих, антропософия исторически оказалась в крайне невыгодном положении между двумя мощными русскими силами. С одной стороны, существует православная духовная традиция, которая для большинства русских людей, даже далеких от церковной жизни, остается языком высшей легитимности в вопросах духа. С другой стороны, существует государственно-патриотическое сознание, которое подозрительно относится ко всем транснациональным и западно укорененным духовным сетям. Между этими двумя полюсами антропософии почти не остается пространства. Для православного мира она слишком эзотерична, слишком интеллектуально самоуверенна, слишком свободна в обращении с христианским наследием. Для патриотического мира она слишком западна, слишком кружкова и слишком мало укоренена в русской почве. В результате антропософия оказывается как бы между жерновами: ее не принимает до конца ни традиция, ни государство, ни народная интуиция.

Но и этого было бы, вероятно, недостаточно, чтобы обречь ее на маргинальность, если бы внутри самой антропософии не действовал соблазн духовной самодостаточности. Я слишком часто вижу, как антропософы, вполне искренне стремясь к истине, начинают жить в ощущении, что им уже дан более высокий ключ к истории, к культуре, к религии и к судьбе народов. Это не всегда выражается в грубых словах. Напротив, чаще всего это выражается в особой интонации — мягкой, образованной, терпеливой, но внутренне иерархической. В ней уже содержится незримая установка: мы видим дальше, мы понимаем глубже, мы знаем скрытые духовные закономерности. Для русского человека такая интонация почти невыносима. Он может выслушать сильного, он может уважать мудрого, он может последовать за святым. Но он не любит тех, кто разговаривает с ним как с еще не вполне пробудившимся материалом для более высокой формы сознания.

Именно здесь я вновь возвращаюсь к проблеме патриотизма. Я убежден, что русское патриотическое чувство отвергает антропософию не только по неведению и не только под влиянием внешней полемики. В этом отторжении есть и доля правды. Патриотизм не терпит, когда к народу подходят как к объекту исторической педагогики. Он не терпит культурного наставничества, даже если оно облечено в тонкие духовные понятия. Народ хочет, чтобы с ним говорили как с носителем судьбы, а не как с учеником, которому объясняют его место в метаисторическом порядке. И пока антропософия не научится этому смирению, она будет оставаться в России на положении чужого учения.

Здесь, однако, возникает главный вопрос: если антропософия не укореняется как живое движение, то что же может от нее остаться? Я вижу три возможных уровня остатка: учение, община и практика.

Если говорить об учении в строгом смысле, то я должен признать: его перспективы в России крайне ограничены. Под учением я понимаю не отдельные симпатии к Штайнеру, не чтение его лекций и не уважение к его гению, а именно живое продолжение антропософского мировоззрения как целостной духовной науки. Для этого нужна внутренняя преемственность, нужна среда, нужна дисциплина сознания, нужна готовность поколений входить в один и тот же поток. Я не вижу сегодня для этого прочной почвы. Учение может существовать в малых кругах, может время от времени переживать локальные подъемы, может даже привлекать людей, уставших от плоского материализма. Но стать значительной духовной силой в России оно, по всей вероятности, уже не сможет. Его будут либо подозревать, либо уважать как культурную экзотику, либо частично использовать, не принимая в целом.

Если говорить об общине, то здесь положение еще тоньше. Антропософская община в России почти неизбежно будет малочисленной и внутренне хрупкой. Ее члены будут чувствовать себя окруженными непониманием, а это почти всегда рождает две опасности: либо замкнутость, либо приспособленчество. Замкнутость превращает общину в сектантский оазис, живущий не служением миру, а охранением собственной идентичности. Приспособленчество, наоборот, размывает содержание и сводит общинную жизнь к культурным компромиссам. И то и другое губительно. Я не исключаю, что отдельные антропософские общины еще долго будут существовать. Но их судьба будет скорее судьбой островков, чем зерен будущей большой формы. Их историческая миссия, если

она вообще возможна, будет не в распространении антропософии как движения, а в сохранении некоторых огней внутренней работы.

И вот здесь мы подходим к третьему уровню — к практикам. Именно они, на мой взгляд, имеют наибольший шанс на выживание. Но и здесь необходимо различать. Сохраниться могут не все практики, а только те, которые способны быть вырваны из исходной культурной оболочки и пройти через глубокое переосмысление.

Я все больше убеждаюсь, что в России может не быть будущего у антропософии как у цельного мировоззренческого движения, но при этом может быть определенное будущее у антропософских практик, если они сумеют отделиться от собственной догматической и культурной оболочки. Для антропософа это болезненная мысль, потому что в глубине души я знаю: практика в подлинном смысле вырастает из мировоззрения, и если отрезать корень, дерево неизбежно меняется. Но исторически такие процессы происходят постоянно. Идеи редко выживают в той полноте, в какой они были задуманы. Чаще всего история сохраняет не целое, а то, что способно быть переведено на язык иной эпохи, иной культуры и иного душевного состава.

Именно так я смотрю на антропософские практики в России. Они могут пережить антропософию. Более того, они, возможно, уже переживают ее именно потому, что перестают быть ею в строгом смысле слова.

Возьмем прежде всего вальдорфскую педагогику. Я не могу отрицать, что в ней есть живое, глубокое, подлинное знание о ритмах детского развития, о различии возрастных фаз, о необходимости художественного, образного и волевого начала в образовании. В этом я вижу не просто технику, а настоящее интуитивное прикосновение к строению человеческого существа. Ребенок в вальдорфском понимании — не маленький взрослый и не носитель абстрактной «компетентности», а существо, чье физическое, эфирное, астральное становление требует тонкого, терпеливого, нравственно ответственного сопровождения. В этом смысле вальдорфская педагогика включает в себе нечто истинное, и это истинное вполне может быть услышано в России.

Но здесь и возникает решающий вопрос: может ли это истинное быть услышано без принятия всей антропософской космологии? Мне кажется, что в значительной степени — да. Русская школа, уставшая от мертвого рационализма, от ранней интеллектуализации, от бюрократического механизма образования, вполне способна воспринять такие элементы, как уважение к ритмам возраста, связь познания с образом, роль искусства в воспитании, внимание к волевому развитию, к телесности, к переживанию времени. Однако чем успешнее эти элементы будут восприняты, тем меньше они будут оставаться собственно антропософскими. Они станут частью более широкого педагогического самосознания. Они будут жить уже не как выражение штайнерианской духовной науки, а как проверенные практикой способы более человеческого воспитания. С точки зрения исторического выживания это, может быть, и хорошо. Но с точки зрения антропософии как цельного импульса это уже распад.

То же самое я вижу и в отношении биодинамики. В ней мне всегда было дорого не только техническое, но и благоговейное отношение к земле. Биодинамика исходит из чувства, что сельское хозяйство — не просто производство, а форма участия человека в космической и земной жизни. Она напоминает, что почва не есть мертвый субстрат, растение не есть химическая машина, а хозяйство не есть бездушный механизм извлечения выгоды. В этом есть великая правда, и я не думаю, что она чужда России. Напротив, русскому крестьянскому чувству земли, если оно еще не умерло окончательно, это может быть глубоко понятно. Но и здесь биодинамика будет принята лишь постольку, поскольку она перестанет быть знаком принадлежности к узкому антропософскому кругу и станет частью более широкой, укорененной в русской почве культуры отношения к земле. Она сможет сохраниться как экологическая мудрость, как дисциплина хозяйственного такта, как форма борьбы с технократическим омертвлением. Но чем более она будет входить в русский контекст, тем менее она будет восприниматься как продолжение цельного штайнерианского мира.

Еще более показателен пример эвритмии и связанных с ней художественных практик. Здесь особенно ясно видно, как форма может пережить исходную метафизику. Эвритмия как искусство движения, как попытка сделать речь и музыку зримыми, как дисциплина телесного одухотворения, включает в себе подлинное художественное откровение. Но для того, чтобы она жила в России, ей совершенно не обязательно сохранять всю антропософскую самореференцию. Она может быть воспринята как особая школа движения, как форма художественно-духовной работы, как метод телесного самосознания. Да, в таком виде она утратит часть своего внутреннего замысла. Но, быть может, именно так она и сможет выжить.

Я думаю, что здесь действует один и тот же закон. Практика выживает тогда, когда она оказывается сильнее своей идеологической оболочки. Если в ней есть реальный жизненный нерв, она может быть переосмыслена, присвоена, даже частично «забыть» собственное происхождение — и все же продолжить действовать. Но тогда передо мной встает неудобный вопрос: не означает ли это, что самое жизнеспособное в антропософии вообще лежит не в ее самосознании как учения, а в тех плодах, которые она может отдать, перестав настаивать на самой себе?

Я понимаю, насколько это болезненно для всякого серьезного антропософа. Ведь я сам не хочу сводить антропософию к «полезным методикам». Мне отвратителен тот тип поверхностного присвоения, при котором из великой духовной науки извлекают только педагогические лайфхаки, сельскохозяйственные рекомендации или психофизические упражнения. Это было бы профанацией. Но история часто жестока именно так: она не сохраняет то, что хочет сохранить само себя; она сохраняет то, что оказывается способным войти в новую плоть. И если я честен, я должен признать, что в России именно практики, а не доктрина имеют наибольший шанс на длительное существование.

Здесь особенно важно различить, что я называю практикой без антропософии. Я не имею в виду голое внешнее копирование приемов, лишённое внутреннего смысла. Это было бы мертвым и недолговечным. Я имею в виду нечто другое: возможность того, что отдельные антропософские интуиции будут переведены на иной язык, встроены в иной культурный организм и тем самым обретут новую жизнь, уже не требуя от человека входить во всю антропософскую картину мира.

Так, педагог может глубоко чувствовать необходимость соразмерять образование с развитием эфирных сил ребенка, даже если он не употребляет этого термина и даже если он вообще не мыслит себя антропософом. Врач может интуитивно понимать, что болезнь не сводится к физическому механизму и что в человеке действуют более тонкие уровни организации, не принимая при этом всей штайнерианской космологии. Художник может переживать тело как орган откровения души и духа, не будучи связанным с антропософскими кругами. Земледелец может работать с почвой так, как будто она жива, не подписываясь под каждой формулой биодинамики. Во всех этих случаях практика уже живет вне собственной исходной школы.

Но тут я должен поставить самый трудный вопрос: остается ли это еще антропософией? Если отвечать строго, то нет. Это уже не антропософия в полном смысле. Это ее дальние плоды, ее отпечатки, ее превращенные формы. Само учение, его дисциплина познания, его хриология, его космология, его понимание кармы и инкарнации, его различение физического, эфирного, астрального и Я — все это уже не присутствует как целое. А без этого целого говорить о полноценной антропософии невозможно. Следовательно, да, в России могут выжить антропософские практики без антропософии, но именно потому, что они перестанут быть антропософскими в строгом и полном значении.

Я не говорю это с осуждением. Напротив, чем больше я об этом думаю, тем больше вижу в этом не только распад, но и своеобразный суд истории. Быть может, антропософия и должна пройти через такое рассеяние, чтобы обнаружилось, что в ней было действительно живым, а что принадлежало только ее исторической оболочке. Быть может, именно в отрыве от собственного культурного самолюбия ее плоды смогут обнаружить свою реальную ценность. И если это так, то исчезновение внешней антропософской идентичности не обязательно означает исчезновение внутреннего

импульса. Иногда семя должно перестать быть похоже на себя, чтобы дать росток в другой почве.

Однако здесь возможна и обратная опасность. Практика, оторванная от живого духовного источника, может довольно быстро выродиться. Вальдорфская педагогика без антропософского понимания человека легко превращается либо в мягкий гуманизм, либо в набор эстетических методов. Биодинамика без духовной дисциплины может стать разновидностью экологического фольклора. Эвритмия без внутренней работы Я рискует превратиться в любопытную телесную технику. То есть, отделяясь от антропософии, практики получают шанс на выживание, но вместе с тем теряют глубину. Они выживают ценой собственного уплощения.

И вот здесь я вновь ощущаю всю трагедию положения. Если антропософия остается верна себе в полном объеме, она почти не укореняется в России. Если же ее практики отделяются от цельного мировоззрения, они могут укорениться, но ценой утраты той глубины, которая делала их подлинно антропософскими. Между этими двумя полюсами и проходит сегодня вся драма.

Мне кажется, что из этого тупика есть только один относительно честный выход. Нужно отказаться от иллюзии, будто можно механически сохранить антропософию во всей ее западно-исторической полноте и одновременно сделать ее «своей» для России. Скорее всего, так не получится. Но можно надеяться на другое: что отдельные живые зерна антропософского опыта пройдут через русскую переработку, вступят в иные связи, обретут иной духовный язык и, быть может, однажды снова соединятся с более глубоким знанием о человеке. Не в форме копии Штайнера, а в форме нового внутреннего синтеза.

Я, как антропософ, не могу не скорбеть о том, что это будет уже не та антропософия, которую я люблю. Но я не могу и не признать, что история не обязана сохранять наши любимые формы. Она сохраняет только то, что действительно способно служить живому развитию человека.

И потому я формулирую свой вывод так: в России антропософия как целостное учение, скорее всего, останется уделом малых кругов, а ее наиболее жизнеспособные элементы будут существовать как практики, частично утратившие связь с исходной доктриной. Это не победа антропософии, но и не ее полное поражение. Это форма исторического испытания, в котором должно выясниться, что в ней было временным, а что — действительно плодотворным.

Теперь я подхожу к тому, каковы вообще реальные перспективы антропософии в России. Если я хочу быть честным перед самим собой, я должен отказаться и от пессимистической лени, и от утешительной самоиллюзии. Слишком легко было бы сказать: у антропософии в России нет будущего, все кончено, эпоха закрылась. Но столь же легко было бы повторять привычные слова о том, что истинный духовный импульс рано или поздно пробьет себе дорогу, и потому нынешняя слабость не имеет большого значения. Оба ответа кажутся мне слишком простыми. История никогда не движется по чистой линии отрицания или чистой линии торжества. Она действует сложнее, суровее и тоньше. Поэтому, размышляя о будущем антропософии в России, я вижу не один исход, а три возможных сценария. И все три в той или иной степени уже присутствуют в действительности.

Первый сценарий — это маргинализация. Он представляется мне наиболее вероятным, если сохранятся нынешние условия и если сама антропософская среда не пройдет через глубокое внутреннее очищение. Под маргинализацией я понимаю не просто численную малость. Малые числа сами по себе не трагичны. Христианство тоже начиналось не как массовое явление. Маргинализация в более глубоком смысле означает потерю исторической способности быть собеседником страны. Это такое состояние, при котором движение продолжает существовать, иногда даже с достойным внутренним напряжением, но перестает быть фактором живой духовной судьбы народа. Оно становится или закрытым кругом посвященных, или аккуратной культурной субкультурой, или набором частных инициатив, уважаемых в узкой среде, но не затрагивающих душу исторического целого.

Я вижу, что именно к этому антропософия в России сегодня ближе всего. Ее понимают слишком немногие. Ей доверяют еще меньше. Для широкого религиозного сознания она подозрительна. Для патриотического — слишком западна. Для академического — слишком метафизична. Для практического массового человека — слишком сложна и далека от повседневной борьбы. В результате она оказывается почти нигде не дома. Она живет на островках: в отдельных школах, кружках, семинарах, частных судьбах. Это может продолжаться долго. Более того, иногда именно в маргинальном положении сохраняется подлинная внутренняя работа, не зараженная успехом и суетой. Но все же я не могу не признать: в таком сценарии антропософия утрачивает возможность стать в России живым культурообразующим началом. Она остается, но остается на краю.

Этот сценарий особенно опасен еще и потому, что маргинальность почти неизбежно искушает двумя ложными реакциями. Либо возникает сектантская замкнутость: мы малое стадо, мир нас не понимает, значит, надо еще теснее охранять чистоту формы, терминологии и внутреннего круга. Либо, напротив, возникает болезненное стремление любой ценой стать приемлемыми: убираются острые углы, глушится содержание, антропософия переводится на язык почти нейтральной гуманитарной культуры. В первом случае она кристаллизуется и омертвевает. Во втором — размывается и теряет себя. Маргинальность редко бывает спокойной; она почти всегда несет в себе либо страх, либо соблазн приспособления.

Второй сценарий я назвал бы деидеологизацией, хотя это слово для меня недостаточно. Я имею в виду такой ход вещей, при котором не сама антропософия как мировоззренческий организм, а ее отдельные практики, методы, интуиции и результаты продолжают жить уже вне целостной антропософской самоидентификации. Я уже говорил о педагогике, биодинамике, художественных формах, некоторых медицинских и терапевтических подходах. Именно здесь я вижу наибольшую историческую пластичность. Вполне возможно, что то, что сегодня еще называется антропософским, завтра перестанет так называться, но не исчезнет. Оно просто войдет в другие культурные цепи.

Этот сценарий одновременно наиболее реалистичен и наиболее болезнен. Реалистичен — потому что история чаще всего именно так и поступает с большими духовными движениями. Она редко сохраняет их в полном объеме. Она выделяет из них то, что может быть практически ассимилировано, и переносит это в новые контексты. Болезнен — потому что такой перенос почти всегда сопровождается потерей глубины. Практика сохраняется, но связь с источником ослабевает. Форма действует, но внутренний огонь уже не осознается. Я вполне допускаю, что через несколько десятилетий в России будет существовать множество педагогов, врачей, художников, земледельцев, которые будут пользоваться плодами антропософской интуиции, не называя себя антропософами и не желая входить в антропософскую общину. Это будет знаком того, что антропософия исторически растворилась в более широком культурном слое.

Мне трудно сказать, следует ли считать это поражением. С одной стороны, да: целостное учение распадается, космология молчит, христология перестает быть осознанным центром, дисциплина мышления ослабевает, а Я больше не проходит через тот путь внутренней работы, который предполагал Штайнер. С другой стороны, нечто живое все-таки остается. И если оно остается именно потому, что сумело войти в иную почву и перестать настаивать на своей внешней идентичности, то, может быть, здесь действует не только распад, но и закон жертвы. Быть может, антропософии суждено в России принести в жертву свою историческую форму, чтобы ее отдельные плоды могли жить дольше, чем само движение.

Но есть и третий сценарий, самый редкий, самый трудный и, по правде говоря, самый маловероятный. И все же именно он не дает мне окончательно впасть ни в отчаяние, ни в равнодушие. Я бы назвал его внутренним преображением или, если говорить резко, русификацией антропософского импульса. Я сразу уточню: я не имею в виду поверхностную адаптацию, не имею в виду перевод терминов на русский язык, не имею в виду попытку украсить антропософию славянскими мотивами или примирить ее внешне с патриотической риторикой. Все это было бы пустым и даже униженным. Я говорю о гораздо более глубокой вещи: о возможности того, что

антропософский импульс пройдет через радикальное очищение от своей средневропейской культурной самодостаточности и вступит в русскую духовную реальность уже не как учитель, а как соучастник.

Этот путь требует почти невозможного. Он требует, чтобы антропософия отказалась от скрытого права быть высшей схемой интерпретации русской судьбы. Он требует, чтобы она перестала смотреть на Россию как на культурно запаздывающий материал будущего и научилась видеть в ней самостоятельный духовный мир с собственной кармой, собственной болью, собственным строем души ощущающей, души рассудочной и души сознательной. Он требует, чтобы антропософ вошел в русское пространство не с готовым знанием о месте России в мировой морфологии, а с внутренней готовностью услышать то, чего еще не знает его собственная традиция.

Я понимаю, насколько опасно звучит слово «русификация». Оно может быть понято в духе культурной самодовольной апроприации, как будто Россия просто возьмет европейское учение и переделает его под себя. Но я говорю не об этом. Я говорю о встрече, в которой измениться должна прежде всего сама антропософская форма. Ведь русская духовная жизнь устроена иначе. В ней душа ощущающая несет не только хаос, но и способность к сострадательному всечеловечеству. В ней душа рассудочная живет не столько как юридическая систематика, сколько как мучительный поиск общей правды и общего дела. В ней душа сознательная пробуждается не как гладкая автономия индивида, а как кризис совести, как вопрос о личной ответственности перед Богом, народом и историей. Если антропософия не научится мыслить в этом ритме, она не станет здесь живой.

Я не исключаю, что когда-нибудь может появиться очень редкий тип русского антропософа — человека, который будет одновременно внутренне верен христианско-антропософскому импульсу и глубоко укоренен в русской судьбе, в ее боли, в ее религиозном инстинкте, в ее патриотической серьезности. Такой человек не будет копировать Штайнера, но и не будет ему изменять. Он не станет превращать антропософию в нейтральную методику, но и не будет навязывать России чужой духовный стиль. Он сможет различать в русской истории не только ее ариманические и люциферические соблазны, но и ее еще не раскрытую способность к новому синтезу соборности и свободы, народной верности и пробужденного Я. Но я повторяю: это редчайшая возможность. Она требует не организационного успеха, а почти аскетического подвига сознания.

Если же такого преобразования не произойдет, третий сценарий останется только горизонтом мысли, а реальная история будет колебаться между первым и вторым. Антропософия сохранится либо как малое и замкнутое явление, либо как распавшийся на практики культурный осадок. И мне кажется, что именно это сегодня честно признать важнее всего. Не потому, что я хочу вынести приговор, а потому, что духовная честность начинается с отказа выдавать желаемое за действительное.

Я бы сформулировал это так. Первый сценарий сохраняет форму, но теряет историческое влияние. Второй сохраняет плоды, но теряет целостность. Третий мог бы сохранить и глубину, и новую историческую жизненность, но требует такого внутреннего перелома, на который пока почти никто не решает. Поэтому наиболее вероятен смешанный итог: маргинальные очаги учения, рассеянные и частично деидеологизированные практики и лишь редкие, почти незаметные попытки подлинного внутреннего преобразования.

И все же, несмотря на всю суровость сказанного, я не могу завершить эту часть размышления без надежды. Но моя надежда уже не в успехе и не в расширении. Она в том, что исторический суд над антропософией в России может оказаться и ее очищением. Быть может, ей и не дано здесь стать движением в привычном смысле. Быть может, ее задача — не учреждать новую духовную среду, а помогать отдельным душам пробуждать мышление, углублять совесть, серьезнее переживать Христа и яснее различать борьбу люциферических и ариманических сил в собственной и народной жизни. Если так, то даже малая судьба не будет напрасной.

Подводя итог всему сказанному, я все яснее вижу: в действительности я говорил не столько о либерализме, не столько об антропософии и даже не столько о патриотизме по отдельности, сколько

об одном и том же глубинном узле русской исторической судьбы. Этот узел состоит в вопросе о духовном суверенитете. Кто имеет право истолковывать человека, народ и историю? Кто задает меру нормы? Откуда приходит слово, претендующее на истину: изнутри живого опыта народа, из глубины его страдания, веры и исторической ответственности — или извне, как готовая более высокая схема, которой остается лишь подчиниться?

Именно здесь, как мне кажется, решается судьба и либерализма, и антропософии в России. Либерализм в русском мире оказался слаб не только потому, что потерпел политическое поражение, и не только потому, что был исторически связан с эпохой распада и унижения. Его слабость глубже: он слишком часто говорил с Россией как внешняя норма. Он хотел научить ее свободе, но не умел полюбить ее конкретную историческую плоть. Он хотел освободить личность, но не понимал, что личность в России живет не в пустоте, а в тяжелом, противоречивом, священном и трагическом организме народа. Он слишком часто говорил от имени человечества вообще и слишком редко — изнутри судьбы родины. Поэтому он и был услышан не как голос правды, а как голос внешнего суда.

Но если я честен, я должен признать: и антропософия в России терпит поражение всякий раз, когда начинает говорить тем же тоном, пусть и на более тонком уровне. Да, антропософия несет в себе не политическую, а духовную универсальность. Да, она хочет мыслить человека глубже, чем либеральная антропология. Да, она знает о карме, об инкарнации, о духовных Иерархиях, о тайне народных душ, о борьбе люциферических и ариманических сил, о пути Я через душу ощущающую, душу рассудочную и душу сознательную. Но все это не спасает ее от ошибки, если она начинает переживать себя как скрытую высшую инстанцию, имеющую право объяснить России ее место, ее незрелость, ее задержку, ее историческую задачу. В этот момент антропософия перестает быть духовной наукой и становится еще одной формой культурного наставничества.

Вот почему вопрос, который я ставлю в конце, касается уже не того, истинна ли антропософия в себе самой. Для меня этот вопрос решен: я верю, что в ее глубинном христианском ядре содержится подлинный импульс к освобождению мышления, к пробуждению Я, к преодолению материализма, к серьезному пониманию человека и истории. Но историческая истина учения определяется не только его внутренним содержанием, а и тем, как оно входит в судьбу народа. И если оно входит как чужая высота, а не как братское соучастие, оно может быть сколь угодно глубоким и при этом исторически бесплодным.

Духовный суверенитет для меня не означает замыкание, самодовольную изоляцию или отказ от универсального. Я не стою за примитивную «автаркию духа», при которой Россия должна признавать истинным только то, что выросло исключительно на ее собственной почве. Это было бы ложью и духовной бедностью. Истина не знает национальных границ в этом грубом смысле. Христов импульс обращен ко всему человечеству. Духовная наука по самому своему существу не может быть племенной или этнографически замкнутой. Но духовный суверенитет означает другое: ни одна универсальная истина не может быть принята плодотворно, если она требует от народа сначала отказаться от себя, усомниться в своей внутренней правде, признать себя только материалом для более высокой цивилизационной формы.

Именно поэтому Россия так болезненно реагирует на все, что несет в себе скрытую асимметрию. Она может принять правду, но не примет высокомерия. Она может услышать универсальное, но не позволит превратить себя в объект внешнего воспитания. Она может пройти через глубокое ученичество, но только если это ученичество не унижает ее духовного достоинства. Это и есть закон духовного суверенитета.

Мне кажется, что этот закон особенно важен для антропософии. Если антропософия хочет иметь в России хоть какое-то подлинное будущее, она должна отказаться от соблазна быть метаисторическим арбитром. Она должна отказаться от почти незаметного, но чрезвычайно опасного жеста, при котором средневропейская форма души сознательной принимается за универсальный эталон. Она должна научиться различать между вечным содержанием и собственной исторической оболочкой. Она

должна понять, что Я пробуждается в разных народах не по одной культурной схеме и что русская душа проходит свой путь не как испорченный или задержанный Запад, а как особая, тяжело страдающая и еще не договорившая свою правду форма человеческой судьбы.

В этом смысле патриотизм оказывается не врагом духовной науки, а ее испытанием. Патриотизм спрашивает всякое учение: ты пришло ко мне как освобождающая истина или как скрытая власть? Ты хочешь углубить мое самосознание или заменить его своей схемой? Ты любишь мою родину в ее реальной карме или только терпишь ее до тех пор, пока она не станет похожей на твой идеал? Это суровые вопросы, но они справедливы. И если антропософия не выдерживает их, тем хуже для нее.

Я все более убеждаюсь, что будущее принадлежит не тем духовным формам, которые просто много знают, а тем, которые умеют смиренно входить в чужую судьбу. Можно владеть самым разработанным эзотерическим аппаратом, прекрасно различать структуры астрального тела, понимать метаморфозы эфирных процессов, говорить о действии Архангелов в народной истории и о переходе человечества к новой ступени сознания — и при этом остаться духовно бесплодным для конкретного народа, если в тебе нет способности к братству. А братство начинается там, где я перестаю быть скрытым судьей и становлюсь соратником.

И вот здесь я подхожу к самому личному для меня выводу. Я не хочу отречься от антропософии ради патриотизма. Но я не хочу и защищать антропософию ценой унижения патриотического чувства. Для меня истина не может строиться на презрении к родине. Я не верю в такую духовность, которая требует сначала ослабить историческую верность. Если антропософия действительно христиански истинна, она должна не разрушать любовь к родине, а очищать ее от грубости, идолопоклонства и замкнутости. Она должна не отменять патриотизм, а преображать его. Не делать человека беспочвенным «гражданином мира», а вести его от слепой коллективности к свободной, ответственной, Христом освященной любви к своему народу.

Это значит, что и патриотизм должен пройти свое очищение. Иначе он тоже становится ложным. Патриотизм, который замыкается в самодовольстве, который объявляет свою историческую форму абсолютной, который боится всякой духовной глубины, всякого сложного самопознания и всякого универсального измерения, вырождается в идола крови и почвы. Такой патриотизм уже не служит духу; он служит коллективной тени. Но я говорил здесь не о таком патриотизме. Я говорил о патриотизме как о верности, как о готовности не предавать свою родину ради внешней нормы, как о мужестве оставаться со своим народом в его болезни и надежде. Такой патриотизм не противостоит духовной науке. Он требует от нее честности.

Если же теперь спросить меня прямо: возможна ли встреча антропософии и России? — я отвечу так. Встреча возможна, но не в форме простого переноса, не в форме культурной миссии и не в форме организационного расширения. Она возможна только как внутреннее преображение обеих сторон. Антропософия должна стать скромнее, глубже, христиански смиреннее и исторически внимательнее. Россия же должна научиться не отвергать всякое духовное слово извне лишь потому, что оно извне. Но первый шаг, как мне кажется, должен сделать именно антропософ. Потому что именно он слишком часто приходит с готовым знанием.

Я уже сказал, что наиболее вероятным мне видится не триумф антропософии, а ее малая судьба: маргинальные очаги, отдельные практики, редкие души, для которых она станет серьезной внутренней школой. И все же теперь я вижу в этом не только признак слабости. Быть может, именно малая судьба уберет антропософию от искушения стать еще одной надстроечной идеологией. Быть может, именно через историческое умаление она сможет сохранить свое христианское зерно. Не как учение, объясняющее народы сверху, а как путь, помогающий отдельному Я пройти сквозь люциферические и ариманические искушения своей эпохи и стать внутренне свободнее.

Тогда итог всей моей статьи можно выразить очень просто. Спор идет не только о либерализме, не только об антропософии и не только о патриотизме. Спор идет о том, может ли современный человек принять универсальное, не предав конкретное; может ли он открыть дух, не утратив родину; может ли

он пробудить душу сознательную, не отрезав ее от живых сил души ощущающей и души рассудочной, из которых соткана историческая судьба народа. Для России этот вопрос стоит особенно остро. И потому именно здесь всякая духовная форма будет проверена на подлинность.

Я заканчиваю с ясным чувством: России не нужна духовность, которая приходит как новая версия внешнего господства. России нужна духовная наука, способная уважать ее внутреннюю тайну. И антропософия будет иметь право на будущее в России только в той мере, в какой она сама согласится пройти через этот суд. Не суд политической полезности и не суд культурной моды, а суд духовного суверенитета.

Если она выдержит этот суд, пусть даже в малом, в немногих, в скрытом, — значит, ее путь здесь еще не кончен. Если не выдержит, то останутся лишь отдельные практики, следы, отблески и, может быть, напоминание о великом шансе, который не был до конца услышан. Но даже тогда окончательная правда будет не за поражением и не за победой, а за тем, насколько верно человек сумел пройти между двумя безднами: между беспочвенным универсализмом и замкнутой самодовольной почвенностью. Именно там, в этом узком и трудном проходе, и решается подлинная духовная судьба и антропософии, и патриотизма, и самой России.